

## В ОЖИДАНИИ ИЗМЕНЕНИЙ

*Мария Каменкович*

Истолкование и изучение творчества Вячеслава Иванова все явственнее набирают силу; однако потребуются, по-видимому, еще немало времени и труда, чтобы восстановить имя Иванова в его истинном значении для русской и всемирной культуры. Но, думается, “истинное значение” подразумевает еще и *актуализацию* наследия Иванова, инициирование новой жизни его идей и расчистку намеченных им когда-то путей. Один из этих путей – реальное, живое творчество, которое для Иванова было началом, одухотворяющим реальность, живой силой, символическим предвосхищением Преображения Твари.<sup>1</sup> Когда-то, в прадавнюю эпоху, Иванов, – сам поэт, – пестовал, вел и учил поэтов, “вещал за мистагога”.<sup>2</sup> Остановиться на полпути, ограничиться рефлексией, осмыслением уже прожитого, отказаться от сотрудничества с будущим, – такого выбора Иванов не делал никогда. КАК и ГДЕ и ЧТО он об этом говорил, что думал, что подразумевал, – это призваны исследовать филологи. Совсем другой вопрос – что из этих слов произошло? Как реализуются чаяния Иванова сегодня? Пора ли уже говорить об “актуализации”, или наследие Иванова заморожено, законсервировано, и пружина еще не готова распрямиться? И тут филология и поэзия, – слово вдумывающееся и слово действенное, – оказываются на параллельных путях, прозрачные друг для друга, объединяющие, в идеале, свои усилия. Как делегаты на Восьмой Ивановской конференции, философия и поэзия вместе стоят у могилы

---

<sup>1</sup> См. I, 110, слова Вяч. Иванова в пересказе О. А. Шор: “Дар, приобретенный при духовном восхождении a realibus ad realiora, должен быть использован для одухотворения мира посредством нисхождения ad realioribus ad realia”, или у самого Вяч. Иванова: “...Искусство – одна из форм действия высших реальностей на низшие” (II, 646).

<sup>2</sup> Вяч. Иванов, “Римский дневник” - III, 593.

Иванова на Авентине, хотя, конечно, я не дерзаю претендовать на роль полномочного делегата от Поэзии. И тем не менее право на пусть косвенное представительство я за собой оставляю.

Однако идеал кажется сегодня как никогда далеким. За Бродским, в оставленный его уходом вакуум, полетела, кружась, как листва, и почти вся современная российская поэзия, увлекаемая стихией Языка, которую прославил и возвеличил Лидер.<sup>3</sup> Любуясь горечью своего одинокого стояния (а на самом деле – головокружительного метельного полета в обществе других одиночек) посреди трагической, а для кого-то и веселой бессмысленности или как минимум непознаваемости бытия. Не пытаюсь противостоять ей, чаще всего даже не подозревая о возможности противостояния, или же понимая его просто как противопоставление, предлагая себя этой “бессмысленности” в качестве наблюдателя. “Рекшья: язык наш возвеличим, устны наша при нас суть, кто нам Господь есть?”<sup>4</sup> По Бродскому (который, впрочем, не изобрел, только заново озвучил эту теорию), современный поэт может доверять только стихии языка, и истинный путь у него один – ввериться ей, а в награду получить от языка прошлое, настоящее и будущее,<sup>5</sup> отлитые в порожденные языком формы. Я не посягну утверждать, что Бродский-де неправ. Внутри Его Вселенной (которую многие готовы с ним разделить и разделяют) это – правда. Но это еще не все, что бывает. Эта Вселенная – не единственная. Изредка об этом вспоминают. То поэт Юрий Колкер ополчится против любой новизны, призывая укрыться от варварских полчищ за белоснежными стенами Ветилуи традиционного

---

<sup>3</sup> “Поэт всегда знает, что то, что в просторечии именуется голосом Музы, есть на самом деле диктат языка [...] зависимость эта – [...] абсолютная, деспотическая” // Сочинения Иосифа Бродского. СПб. 2000, т. VI, с. 53.

<sup>4</sup> Пс. 11:5. Здесь слово “язык” употреблено в смысле “народ”. Но тем примечательнее кажется многозначность и объемность церковнославянского текста.

<sup>5</sup> В “Кризисе гуманизма” Иванов уподобляет язык земле, откуда вырастает поэтическое произведение. Исключено ли, что в отказе современной поэзии от “возрастания” к мысленному небу, в ее погруженности в стихию языка осуществляется другое пророчество Иванова – “...быть может, случится чудо нового узнания Земли ее поздними чадами...” (III, 372). Но Иванов уподоблял стихию языка “материнской плоти”, в которой он чаял зарождения “младенца-Мифа”. Для Бродского, напротив, язык – определенно мужская стихия, властно распоряжающаяся, а не “зачинающая”. Это могло бы стать предметом отдельного размышления. Происходит ли предсказанное Ивановым рождение мифа в глубине ориентированной на язык поэзии?...

стихосложения, то вдруг окажется, что параллельно стрежневому потоку современной поэзии движутся и другие ручьи и реки – хотя бы поэзия О. Седаковой, О. Охупкина... не буду перечислять всех, да я всех и не знаю. Однако в тех острогрудых расписных челнах, которые плывут по многоводной реке модернизма, не принято говорить о каких-либо иных, высших ли, низших ли, но реальных уровнях бытия, помимо первичного, – а только о созданных или узаконенных литературой. Многие “художники” (если использовать термин, обычный для Иванова) о существовании этих уровней догадываются, но редко понимают, о чем именно они догадались. В современной культурной ситуации интуиция, как правило, разлучена со знанием, а виртуозность формы не знаменует глубины интуитивного проникновения в суть вещей. Вячеслав Иванов писал: “Поэзия – совершенное знание человека и знание мира через познание человека”.<sup>6</sup> И несколькими строками выше: “Два таинственные веления определили судьбу Сократа. Одно, раннее, было: “Познай себя”. Другое, слишком позднее: “Предайся музыке”. Кто “родился поэтом”, “слышит эти веления одновременно...”.<sup>7</sup> По рекам языка сплавляются бесчисленные стволы срубленных деревьев, а поэту, по Бродскому, отводится не более чем роль квалифицированного плотогона (я упрощаю – но не подтасовки ради, а лишь подпадая закону первородного греха, тяготеющего над всяким текстом, где наскоро излагаются достаточно сложные концепции). Но этот образ предоставляет поэту пассивную роль. “Познание себя” здесь никак не отображено – только второе сократовское “веление” с императивом “предайся”. Познание самого себя и, как следствие, познание мира – путь духовного ведения и духовного делания, и здесь главное – тот, кто идет этим путем, то есть, собственно, сам поэт. Река – несет его; по твердой земле он идет сам. Поневоле начинает казаться, что эти тропы заросли лебедой, как в народной песне: “Наша улица – зеленые поля: васильками, муравою поросла...”. Мне вспоминается дорога, выведшая когда-то нас, заплутавших паломников, из глухой деревеньки на юге Архангельской области в такую же глухую деревеньку, но в уже Вологодской области. Мало-мальски наезженной дороги между этими двумя пунктами не было, густой лес на тридцать километров, болота. Но в прежние времена, местные жители между собой общались, и кто-то навел через болота прочную гать. Вот она-то, местами почти непрохо-

---

<sup>6</sup> “Спорады” - III, 119.

<sup>7</sup> Ibidem.

димая, и вывела нас к жилью. Символична “эта пригодившаяся гать”.<sup>8</sup> Пригодилась однажды, пригодится и еще... но кто ее расчистит? Если даже те, кто догадался или знает о ее существовании, не испытывают в ней нужды и не задумываются о том, куда она ведет?

А вот еще один образ: прибой играет со щепкой – вот-вот, кажется, утянет ее в открытое море, на глубину, но отбегает пена – и щепка опять на песке. Человек стоит на берегу и, наблюдая за мытарствами щепки, делает вывод – стихия всевластна, кораблестроителю и кормчему ее не одолеть. О том, что люди умели когда-то строить лодки и корабли, забывается. Блаженные Страны древних кельтов, которые лежат за морем, манят, – но они недостижимы. Иногда волна выносит на берег бутылку<sup>9</sup>... и те, кто “догадывался”, получают подтверждение своим догадкам, но и это не побуждает приступить к строительству корабля...

От Вячеслава Иванова нас отделяет эпоха, которая, кажется, на излете. Похоже, мы получили наконец возможность осмотреться, – то ли как уцелевшие после потопа (все мудрецы и учителя погибли вместе с библиотеками), то ли как дикари, впервые на короткой памяти своего племени выбравшиеся к морю из непроходимых джунглей. История моего поколения (вылупившегося из своего яйца в начале восьмидесятых годов), и моя собственная вполне соответствуют этому образу. Это был долгий путь в безвоздушном пространстве, охота за случайными проблесками света, как правило, на свой страх и риск, без учителей, без Учителя, даже не на развалинах цивилизации – в джунглях.

... И низко восемьдесят первый  
Курился, сизый, у перил,  
  
Но дым не сталкивает в воду, –  
И слали свет издалека  
Осуществленье и Свобода –  
Два на болоте маяка...

В 1983-84, мы в нашем поэтическом кружке пылали готовностью немедленно приступить к теургии и принять действенное участие в Преображении твари (от такого прямолинейного подхода Иванов предостерегал, но мы предпочли не услышать предостережения, тем более, что

<sup>8</sup> Из стихотворения Дмитрия Бобышева.

<sup>9</sup> Ср. у о. С. Булгакова: “...пусть же и эти страницы, тусклая запись о великих предвестиях, подобно письму в засмоленной бутылке, брошены будут в свирепую пучину истории” // С. Н. Булгаков, “Свет Невечерний”, М. 1994, с. 5.

Иванова мы тогда читали только раннего, в питерской университетской библиотеке, – синие брюссельские тома дошли до нас с большим опозданием).

Три звезды мне на сочельник,  
Темный зал, библиотека.  
На каких пересеченьях  
Пляшет сердце человека?

Куполами из туманов,  
Кормчими по хлябям мрака –  
Рильке, Хлебников, Иванов:  
Солнце мертвых – в тучи праха,

В з а в т р а сумерек безверных...  
– Так пируют, пожиная! –  
– Прежде, чем по тропам первым  
Я взобраться пожелаю, –

Много прежде, чем избыто  
Все, с чем суждено прощанье...

– Лишь от Скрывшего не скрыто,  
Кто исполнит обещанья...

“Осуществимость подвига святого жития”<sup>10</sup> оказалась и впрямь, “кажущейся”, да и, видно, время тогда еще не пришло. Жизнь выбрала иное русло. Начинать с “теургии” нельзя; но есть минимум высокого задания – “просвеченность небесным лучом и проникнутость небесной гармонией”, попытка подняться над “землей языка” вертикалью стебля и ствола. Мир, внеположенный поэзии, склонен будет увидеть в этой формулировке размытость и эфемерность: что такое – “небесный луч”? Что такое – “небесная гармония”? Но Иванов ввел эти “эфемерности” в филологию и стиховедение в качестве полноправных понятий, – не научных, но и не поп grata. Благодаря этому у филологии сохраняется шанс, пусть не всегда осуществляемый, не впасть в окончательный и бесповоротный редукционизм и не узаконить собственные слепые пятна. Вертикаль,

---

<sup>10</sup> “Так строги требования заветных правд, обращенные к художнику, так далеки они от современного духа мятежного самоутверждения личности, так далеки – до запределности призыва, и вместе так просты – до кажущейся осуществимости в подвиге святого жития”. - II, 650.

которую защищает Иванов – это рост дерева, преодолевшего претензии земли, реалистический концепт поэзии, противопоставленный пустоте простого иронического комбинирования на плоскости, перестановке единиц, не имеющих глубины.

“Однажды, странствуя среди долины дикой...” Весь Бродский уместается в эту пушкинскую строчку. Он – странствует (а вместе с ним его последователи), но он не Моисей, у него нет обетования, он ведóm стихией языка – хотя, по сравнению с другими, слепыми, стихиями, язык – стихия и мыслящая, и зрячая.<sup>11</sup> До второй строки Пушкина – “Внезапу был объят я скорбию великой” – дело не доходит. Странник, по-видимому, не питает любви к “долине дикой”. Но он “знает”, что только она одна и существует, поскольку не видит в своем окружении ничего, что одновременно обещало бы выход и не оскорбляло бы его эстетически-стилистических пристрастий (вспомним тщетные попытки Анатолия Наймана привести Бродского в чуждую тому стилистически православную церковь, или карикатурное изображение православных в “Аде” Набокова). До “скорби великой”, которая заставила бы вскочить и в ужасе бежать куда глаза глядят, не доходит: сознание своего превосходства над пустыней, умение видеть ее насквозь и виртуозно потешаться над ее абсурдностью уже сами по себе обеспечивают какое-то горькое удовлетворение. Но пустоты, которая, по Бродскому, “вероятней и хуже ада”, поэт все же страшится... значит, он рассчитывает продолжиться за порогом смерти, где возможна встреча с этой пустотой, ощутить, что она – “хуже ада”?<sup>12</sup> Но даже это сознание не служит поводом к “скорби великой” и к вещему безумию, охватившему пушкинского Странника. Дальше констатации бедственного положения вещей поэзия школы Бродского не идет.

Путь, который проложил и которым шел Вячеслав Иванов, в этом контексте кажется тупиковым ответвлением, развенчанной иллюзией. Не гатью, не заросшей императорской дорогой,<sup>13</sup> – а чем-то, закончив-

<sup>11</sup> По Бродскому, представить язык “как некое одушевленное существо” было бы “только справедливым” // Сочинения Иосифа Бродского. Т. VI, с. 53.

<sup>12</sup> “Мы боимся смерти, посмертной казни; / Нам знаком при жизни предмет боязни: / Пустота вероятней и хуже ада. / Мы не знаем, кому нам сказать “не надо”. Иосиф Бродский. “Стихотвбрения”. Талинн 1991, с. 125.

<sup>13</sup> Ср. у другого великого “реального символиста” XX века – Дж. Р. Р. Толкина: “...Дорога была проложена во времена давно забытые... впрочем, следы работы рук человеческих еще не исчезли, и старые камни мостовой лежали на прежних местах, образуя... прямую, точно стрела, линию... в кустах еще белел изредка обломок колонны... но буйно разросшийся вереск... и папоротник-

шимся вдалеке ото всего: территориально – вдали от России, по времени – полвека назад, в пространстве культуры – вдали от русского читателя... Продолжение “дороги” Иванова, если кто-то ее продолжает – не на виду. Мне неизвестны в настоящее время в России какие бы то ни было “проивановские” по выбранному направлению группы (а нашей больше не существует), – только одиночки.

Никто не читает Иванова  
В эпоху затмения стиха.

И в эмиграции Иванов шел своим собственным – царским путем, одиноким и независимым, и никто из поэтов эмиграции за ним как будто не следовал. Не было у Иванова своего поэтического семинара, не сбивались вокруг него стайки пишущей молодежи. И след этой дороги потерялся бы, и с вертолета ее было бы уже не разглядеть, если бы не тоненькая, поначалу толщиной не более чем в три человека, ниточка человеческой преданности и духовной преемственности. К счастью и провиденциально, были изданы брюссельские тома, иначе стихи Иванова так и остались бы нерасшифрованными памятниками великой эпохи... Сейчас, и свидетельством тому была эта, восьмая, конференция, забытая дорога расчищается уже усилиями многих. Но будет ли продолжено ее строительство? Это не праздный вопрос.

Завершенное, разумеется, не нуждается в продолжении, но путь Вячеслава Иванова именно *п р е д п о л а г а е т* *п р о д о л ж е н и е*. Символично, что “Светомир”, духовное завещание Иванова, остался незавершенным. Продолжение заложено в творчество Иванова как генетическая программа. Одинокий мыслитель, он не уставал говорить о соборности<sup>14</sup> (“...некоей новой энергии и ценности, не присущей ни одному человеку в отдельности”, единстве во Христе, “...где соединяющиеся личности достигают совершенного раскрытия и определения своей единственной, неповторимой и самобытной сущности, своей целокупной творческой свободы”),<sup>15</sup> о “жизненности и желанности” этого слова, хотя и оговариваясь – это “задание, а не данность”.<sup>16</sup>

---

орляк так густо заткали обочины... что в конце концов [дорога] превратилась в обыкновенный заброшенный проселок. Однако и проселок по-прежнему никуда не сворачивал и вел к цели наикратчайшим путем” // Дж. Р. Р. Толкин, “Властелин Колец”, II, СПб. 2000, с. 423.

<sup>14</sup> “О кризисе гуманизма”. - III, 382.

<sup>15</sup> “Лик и личины России”. - IV, 572.

<sup>16</sup> Ibidem, 260, 261.

Был ли этот непродолжившийся путь дорогой, уводившей в сторону от путей “всея земли”? Все ли прогнозы и чаяния остались неосуществленными? В “Кризисе гуманизма” Иванов рисует набросок будущего, в котором только и могли бы быть по-настоящему прочитаны его книги и где они были бы поистине у себя дома: в XX веке народы были “вовлечены в ураган сверхчеловеческого ритма исторических демонов”, но вот уже спадает “...с мира, как с живучей змеи, тускло-пестрая чешуя... из трещин износившейся шкуры сквозит новый свежий узор тех же деревьев и вод и небесной тверди, проникнутых веянием Духа жива. Новое чувство богоприсутствия, богоисполненности и всеоживления создаст иное мировосприятие, которое я не боюсь назвать по-новому мифологическим... человек должен так раздвинуть грани своего сознания в целое, что прежняя мера человеческого будет ему казаться тесным коконом”.<sup>17</sup> И это написано в 1919 году, когда “ураган” еще и разгуляться-то как следует не успел. Остальное до сих пор гадательно. Часто говорят – XX век переломлен Второй Мировой войной на две несоединимые части, и с одного берега образовавшегося каньона уже не докричатся до другого, и не понять, о чем кричат оставшиеся на другом берегу. Но большинству уже и не важно, о чем они кричат: после катастрофы все изменилось. С той стороны железная дорога оборвалась, и все паровозы упали в бездну, а с этой стороны прокладывают новую дорогу, уже в другом направлении, и другие набрались пассажиры, а прежнее утратило пасающий смысл. Насколько это верно?<sup>18</sup>

Используя введенный Ивановым образ искусства (“художества”) как зеркала, можно уподобить господствующую сегодня поэзию “спонтанного переживания” и “спонтанной мысли” первому зеркальному отражению, которое “подчинено закону преломления света... правое превращается в этом отражении в левое, и левое в правое... Как восстанавливается правота отражения? Чрез вторичное отражение в зеркале, наведенном на зеркало. Этим другим зеркалом – *speculum speculi* – исправляющим первое”<sup>19</sup>... “делается художество”, включающее в себя “...свободное и цельное признание иерархического порядка реальных ценностей”: как

<sup>17</sup> III, 382.

<sup>18</sup> Тот же Бродский возражает против этого категорически: “...из двух подходов к культуре, возможных после этого “великого разлома” – “воссоздания эффекта непрерывности культуры” и “пути дальнейшей деформации <...> пересекавшегося дыхания” он безоговорочно выбирает первый // Сочинения Иосифа Бродского, Т. VI, с. 52.

<sup>19</sup> “Религиозное дело Владимира Соловьева” - III, 303.



только формы право соединены и соподчинены, так тотчас искусство становится живым и знаменательным... его зеркало, наведенное на зеркала раздробленных сознаний, восстанавливает изначальную правду отраженного, исправляя вину первого отражения, извратившего правду".<sup>20</sup> Этот процесс отражения отраженной в стихии языка, или объективной "душевности" во Втором Зеркале ("Зеркале Зеркал")<sup>21</sup> знаменуется в случае Иванова повышенной сложностью языковых конструкций, что заставляет теоретиков и практиков "спонтанности" инстинктивно обходить Иванова и оставляет их в недоумении – стихи ли это? Поэзия "главного потока" настроена сегодня на "первое зеркальное отражение", на отображение спонтанного чувства, на запечатление непосредственного

---

<sup>20</sup> "Заветы символизма" - II, 601.

<sup>21</sup> В каком-то смысле и постмодернизм ставит "второе зеркало" миру культуры, но это зеркало не восстанавливает глубины реальности, не дополняет ее новыми измерениями, а только уравнивает все отраженное на собственной плоскости, как обычные человеческие зеркала, – стекла, покрытые амальгамой. Эта забава кажется веселой, поскольку "схлопнувшаяся" в плоскость глубина, своя у каждого отраженного предмета (слова, имени, понятия), сообщает каждому особую индивидуальность, свой оттенок (безотносительный к их истинному значению). За счет этого постмодернистская игра в яркие стеклышки не сразу прискучивает. Но – в контексте ивановского мышления – задача истинной поэзии состоит в восстановлении, посредством "словесного искусства", объема, трехмерности и многомерности бытия на новом, более высоком уровне, где на первом плане – не внешнее, а внутреннее. Ср. со схемой, введенной Жаном Бодрийяром (Baudrillard J. Simulations. N. Y., Columbia Univ., 1983, p. 11): в отличие от Иванова, который описывает "положительную" эволюцию образа, Бодрийяр предлагает четыре этапа "отрицательной" его эволюции – сперва, как и у Иванова, простое зеркальное отражение, затем отражение в кривом зеркале (авангард), затем образ превращается в маскировку отсутствия реальности и, наконец, в симулякр – копию без оригинала, которая существует, не имея никакого отношения к реальности. Ср. также с выдвинутым Жаком Деррида понятием "деконструкции" как одним из основных понятий постмодернизма: "...Не вдаваясь в подробности, можно определить этот прием как сведение всех означаемых, т.е. разнообразных реальных, предметных и понятийных содержаний, в плоскость означающих, т.е. слов, номинаций, – и свободную игру с этими знаками. Постмодернизм критикует метафизику присутствия, согласно которой знаки отсылают к чему-то стоящему за ними, к так называемой "реальности". На самом деле они отсылают только к другим знакам, а вместо реальности следует мыслить скорее отсутствие или несбывшееся ожидание таковой, т. е. область некоего зияния, бесконечной отсрочки всех означаемых" // М. Эпштейн, "Истоки и смысл русского постмодернизма". "Звезда" 1996. №8, с. 166-188.

результата поэтического вдохновения (воспринятого стихией языка, дающего вдохновению форму и артикулированность). А разве может кто-нибудь “непосредственно”, “спонтанно” вдохновить сложный символический смысл аполлонизма или генезис гимнов? Описанное Ивановым “зеркало зеркал”, восстанавливающее реальный порядок вещей (в первом отражении перевернутый и лишенный глубины) и одновременно возводящее реальность на более высокий уровень, где снимается спонтанность и выявляется глубинный смысл, – остается невостребованным.

Второе Отражение – отражение в “зеркале зеркал” – собирает в пучок лучи смысла, которые в реальности рассеяны и разбавлены “пустой породой” материальности. Отсюда вторая зачастую отпугивающая читателя стилистическая черта – сплошная акцентированность поэзии Иванова, в стихотворной речи которого словно делается ударение на каждом слове, и каждое слово стоит на котурнах. Иванов не скажет просто “Тибет”, хотя стихотворение вовсе не о Тибете и, казалось бы, “Тибет” в данном конкретном контексте никакой индивидуальной характеристики сам по себе не требует: Иванов скажет – “твердыня тайн, Тибет”, вбив четыре свайных “т”. Кто-то заметил, что бывает поэзия, “состоящая из одних вдохов”, в то время как естественный порядок требует, чтобы вдохи сопровождались выдохами<sup>22</sup>. Поэзия Иванова почти вся состоит из одних вдохов. Проф. Д. Мицкевич называет это – “чудовищное уплотнение реальности” путем использования вторичных, третичных и т. д. значений слов... возмещающее “затрудненность чтения такого текста своей смысловой насыщенностью и точностью”.<sup>23</sup> Но отсутствие спонтанности, а в идеале полное бесстрашие – признаки зрелости, плод зрелой аскезы. Время Иванова наступит, когда в поле зрения поэзии опять окажется духовный идеал, когда понятие “духовного пути” человека из почти исключительного на сегодняшний день ведения антропософов и приверженцев восточных культов вернется в круг актуальных тем. Душа ставит зеркало сырой реальности, потоку чувств и событий, Дух ставит свое зеркало душе, осмысляя отобранное и отображенное ею, но и производя беспристрастную селекцию. Вот когда этот процесс, вместе с древней эллинской задачей “познай себя”, снова станет интересным не только для

<sup>22</sup> Ср. в кн. С. С. Аверинцева: “Нагнетание кратких и особенно односложных слов (“свил Он твердь”), вообще нередких у Вяч. Иванова, ... произносятся с особой решительностью, доводя до внимания читателя почти физически ощутимую сжатость” // “Скворешниц вольных граждан...”, СПб. 2002, с. 147.

<sup>23</sup> Д. Мицкевич, “Сонет “Аполлини” Вячеслава Иванова”, доклад, прочитанный на VIII конференции.

одинок и верхоглядов... и когда снова будет осознана роль поэзии в этом процессе, вот тогда дорога, которую строил Иванов и которая оборвалась, по всей вероятности, протянется дальше.<sup>24</sup> Для этого есть все условия, поскольку теория символизма у Иванова – не просто теоретическое обоснование конкретного исторического течения, а, скорее, изложение собственных сокровенных чаяний, апелляция к некому вечному потоку, текущему во временах неизменным, – изменяется только рисунок берегов. Как пример можно привести “Инклингов”<sup>25</sup> с их обостренным интересом к теории мифа и отношениям мифа и реальности. В сущности, “Инклинги” – в соотношении их идей и теорией Иванова – те же “реалистические символисты”, коль скоро “реалистический символизм признает символом всякую реальность, рассматриваемую в ее сопряженности с высшей реальностью, т. е. более реальной в ряду реального... Ищет в вещах знак их онтологической ценности и связи... примыкает... к нормам “вечного символизма” (в противовес декоративному, субъективистскому), – где символ – не “истина, долженствующая быть открытой”, а “вестник содержания, преимущественно психологических”, действующий в пределах, предписанных суфлером.<sup>26</sup>

Долго ждать перемен климата, недостает терпения, но магистральный поток должен исчерпать себя до конца, иначе ему не осознать своей, – в ином, расширенном контексте, – немагистральности, маргинальности (только через это шоковое осознание может он постичь свою подлинную сущность). И это тоже один из законов человеческого онтогенеза: постоянное осознание былых “магистральных” направлений развития как “маргинальных”, постоянное изменение, покаяние, метанойя. В ожидании, в чаянии этой “метанойи” русской (не обязательно, впрочем, только русской) культуры наследие Иванова продолжает свое существование во времени пока что как по преимуществу “собираемое”, “восстанавливаемое”, “изучаемое”, и этот модус подчас оказывается неожиданно созидательным и творческим. “Неожиданно”, – поскольку филология отнюдь не всегда работает “на поэзию” и, как правило, преследует свои собственные цели, отличающиеся от тех, которые стоят перед поэзией. Однако в

---

<sup>24</sup> Чайниям свойственно иногда оборачиваться несбыточными – вспомним чаяние Иванова о превращении России в цветущий сад: “Но это не значит, что “несбыточность” есть необходимая составная часть внутренней структуры любого чаяния”.

<sup>25</sup> Неформальная литературная группа, существовавшая в Оксфорде в 30-е гг. прошлого столетия (К. С. Льюис, Дж. Р. Р. Толкин, Ч. Вильямс и нек. др.).

<sup>26</sup> “Символизм”. – II, 665.

данном конкретном случае, – выходя на авансцену в эпоху “Преимущественно Изучения” ивановского наследия, – филология естественным образом занимает какое-то ей изначально предназначенное место, принимает на себя высокие задачи, освобождается от искажающей ее сущность “самоцельности” и “самодостаточности” и выполняет ту необходимую работу, которую в сказках выполняет “мертвая вода”.<sup>27</sup> Пока не затянутся раны, пока не будут восстановлены смысл и связь, живая вода бесполезна, витязь не сможет сделать и шага. Только когда тело spryskнuto мертвой водой, становится ясно, кто, собственно, и что подлежит воскрешению. Филология возвращает тексту или “корпусу текстов” память о самих себе – когда это возможно и требуется.

Отсюда прямой выход к любимому слову Иванова – Память. Память – “...источник всякого личного творчества, гениального прозрения и пророческого почина... и пророческие дары Духа – упреждение бытия последнего – раскрываются памятью о бытии первом... Вечная Память – энергия соборности и в таинственном смысле священственная; тайно священствует, кто ей служит и жертвует, ...ибо священство обращено лицом к прошлому: ему определено хранить предание святынь”.<sup>28</sup> То есть, по Иванову, “ему” – “художнику”, “жрецу Мнемосины”. Но по другую сторону этого алтаря стоит филолог, который не только “служит и жертвует” – он, если так выразиться, послушник, смиренный инок Мнемосины... Поэты – белое священство Памяти, филологи – ее чернецы.

Стихи Иванова стоят в русской словесности грозными, архаическими памятниками прошлого – начала века, конца старой России, окаменевшим дыханием эллинизма (словно это дохновение свободно прошло через века и культуры и вот теперь превратилось в памятник самому себе, встретив взгляд василиска, обернувшегося к нему из будущего), оплотнением духа баснословно древней Византии (византийство нынешнего православного обряда обманчиво осовременивает этот дух, на самом же деле он древен именно баснословно)... И это прошлое все дальше от нас, все архаичнее, и уже трудно представить, что чуть меньше ста лет назад оно казалось разительной новизной. На м наследие Иванова удобнее всего представлять себе как прошлое (подлежащее, в частности, изучению именно как прошлое), но оно сейчас и для нас целиком обращено в будущее.

<sup>27</sup> “...И стал над рыцарем старик, / И вспрыснул мертвою водою, / И раны засылаи вмиг...” (А. С. Пушкин. “Руслан и Людмила”).

<sup>28</sup> “Древний ужас”. - III, 92-93.

Лидия Зиновьева-Аннибал оттеняет и подчеркивает этот парадокс, как истинная Спутница Поэта: она тоже – вся из прошлого (античный облик, имя Диотимы), но и “ее” настоящее в незапамятном стиле art nouveau – хитоны, оранжевая гостиная, подушки, – какая для нас сейчас архаика! Утонувший “Титаник” начала века. Но она же – пророчица, сивилла (опять Диотима), то есть – вся в будущем, хотя и не продолжаясь в него телесно.

Может быть, так видится на расстоянии жертва? Жизнь жертвы, физическое бытие жертвы – в прошлом, смысл – в будущем, в вечности (и настоящее – уже часть этого будущего). То, что не принесло жертвы и само не стало жертвой, то, что предпочло будущему (не только своему, но и чужому) свое настоящее, застревает в прошлом бесповоротно, и в будущем от него остается в лучшем случае внешняя память. Оно кануло. Волны сомкнулись над ним, мы не смотрим ему в глаза, и оно не смотрит нам в глаза. То, что связано с жертвой, подкреплено жертвой, само стало жертвой – пробивает окно в будущее и видимо оттуда, и смотрит оттуда, или продолжается в будущее в своем инобытии.

Что ж это, Диотима,  
Свет твой горит – не дрогнет?  
Что же он не роняет  
Знамени над могилой?..

С каждым новым десятилетием живая связь ивановского наследия с прошлым все условнее. Все отчетливее видно, что оно не принадлежит прошлому, что оно постоянно обновляется и, переходя из контекста в контекст, делается все адекватнее. Сколько десятилетий прошло с тех пор, как Иванов писал о разложении индивидуализма через символ! А индивидуализм еще не изжил себя, еще его эпоха не кончилась, и слова Иванова актуальны как никогда. Что-то из ранних идей Иванова действительно осталось в прошлом – хотя бы отпавшая сама собой, как старая листва, мечта об “оркестрах и фимелах”<sup>29</sup> (то есть, собственно, надежда на “стихийно-творческую силу народной варварской души”), которым позже Андрей Белый – какая ирония! – уподобил большевистские Советы. “Внутренний образ мира в нас меняется и ищет соответственного выражения в слове; но еще не определился этот образ в нас...” – пишет Иванов в статье 1922 года.<sup>30</sup> Это – программа на все столетие.

<sup>29</sup> “О веселом ремесле и умном веселии”. - III, 77.

<sup>30</sup> “О новейших теоретических исканиях в области художественного слова”. - IV, 633.

Другого пока не началось, начавшаяся тогда работа со словом еще не избыта.

Я говорю обо всем этом в большой степени “на языке Иванова”, в его стилистике, которая современным неподготовленным читателем чаще всего воспринимается как “тяжеловесная”, “высокопарная”, “устаревшая”. Но, опять-таки парадоксальным образом, обращенные в будущее смыслы лучше всего передает именно она – а в какие формы отольются эти смыслы позже, когда будущее станет настоящим, мы не знаем, хотя на абсолютно новом языке новая эпоха, конечно же, не заговорит, – она или снова возьмет в оборот то, что уже, казалось бы, отжило, и воспримет наконец ослепительную новизну этого “отжившего”, или отольет новые формы из более доступного материала сегодняшней поэтической речи, опосредованно восходящей все к тому же времени Иванова, в новом качестве разработанной властителями сегодняшнего поэтического языка России – Цветаевой и Бродским. В их поэзии Гимны Иванова, освободившись от ассоциаций прошлого, которое, казалось, надежно оплело их и намертво встроило в себя, превратились в настоящее, в анонимные кладези вод, в безымянную плодородную почву. “Отжившее” не отжило: отчасти оно существует и развивается под другим именем и в другом модусе, отчасти – остается в состоянии взрывоопасного покоя, как неиспользованное оружие на забытом, но когда-то стратегически важном складе. Ивановские стихи – как уцелевшие здания эпохи начала века: грозная новизна когда-то и для кого-то, лик прошлого – для нас. Нам не дано прочувствовать, какими они были, когда были “современными”, как виделись в общем контексте, и как на их фоне виделось остальное. Иванов, отразившийся в стихах Цветаевой – это напор, категоричность утверждений, акцентированность каждого слова, и все это – помноженное на ее душевный темперамент и освобожденное от сдерживающей аскезы ивановского стиха. Стиль, перенесенный из области духа – в стихию душевности. И мы уже не узнаём сродности: слишком разные миры. Мы не замечаем у Цветаевой характерных, чисто ивановских архаизированных оборотов, хотя их множество: архаичность у Цветаевой переплавлена в горниле современной речевой стихии и кажется уже не архаичностью, а, как и у Иванова во время оно, новизной, смелым экспериментаторством. Цветаева спустилась в долину Нашего Времени с ивановских вершин, которые тем временем исчезли в плотных тучах. Мало кто заметил, что она – спустилась, большинство думает – возникла сама по себе, вырвалась из-под земли, как гейзер. И тем более ни у кого и вопроса не возникает – неужели ничего не оставалось, как только спускаться с вершин? А если бы кто-то решился продолжить подъем?..

В статье “О границах искусства” Иванов различает внутри полного, нередуцированного творческого акта восхождение и нисхождение. Восходит (в область высших духовных смыслов) – человек в поэте, нисходит – поэт, “художник” в человеке<sup>31</sup> (облекая увиденное и воспринятое в поэтическую форму). Однако бывает и так, что поэт восходит вместе с человеком или *вместо* него и вносит свое, частное, “сырое” (то есть – не выверенное, не “отжатое”, не “пропеченное” в высотах) отношение к миру в свое творчество, не дождавшись “луча с небес”. Это, по Иванову, – нарушение естественного порядка, болезнь литературы. “Художник... считает человека в себе (восходящего) низшею и потому пренебрегаемую частью своего озаренного гением существа, и тогда естественно является в нем иллюзия восхождения через художника”.<sup>32</sup> Интересно с этой точки зрения проанализировать творчество все той же Цветаевой. В “Поэме Воздуха” прямым текстом описано лирическое восхождение (которое как раз совершает здесь поэт вместе с человеком и даже без человека), которое, как раз тогда, когда, казалось бы, должно было достигнуть Высших сфер свободы и благодати, оканчивается безвоздушьем (здесь допустимо двоякое толкование – или поэт и человек совместно постулируют отсутствие “высшего”, или же поэт и человек вместе переходят в сферу несказуемого, и потому замолкают, отрицая возможность “нисхождения” и какой бы то ни было связи между землей и небом). “Башни стрельчатой рост” и у Мандельштама – как противопоставление восхождению в “сферы высших смыслов” у символистов: “Я ненавижу свет / Однообразных звезд...” Напротив, та линия, которая сегодня доживает, до-изживает себя – это умелое маневрирование на плоскости (постмодернизм) или лавирование в зыбкой стихии языка, за которой только и признаются глубина (но не высота!) и сила. О “восхождении” здесь речи не идет совсем.

Как к учителю – обращается ли к Иванову сегодня кто-нибудь из поэтов? Кажется, почти никто. Стихи Иванова не восприняты той таинственной средой, которая называется “нашим временем”. Что-то из их арсенала эта среда переварила, что-то выдает за свое, что-то хвалит, правда, в связи с другими именами (см. выше о Цветаевой)... но с а м и х этих стихов она почти не знает. Но ведь это значит – важнейшая составляющая культурного прошлого России не аккумулирована, мимо нее каким-то образом прошли. Этот эффект сродни той разорванности лич-

---

<sup>31</sup> “О границах искусства”. - II, 635.

<sup>32</sup> “О границах искусства”. - II, 636.

ности, о которой писал Иванов: “Где я? Где я? По себе я/ возалкал...” На какое-то время одна часть человеческого “я” в потоке жизни подавляется, другая гипертрофируется, а целостность оказывается утраченной и восстанавливается, если восстанавливается, только спустя какое-то время, в таинственный момент внутреннего воскресения.<sup>33</sup> Иванов сейчас – “подавленное Я” русской культуры в ожидании таинственного момента Вспоминания и Воскресения. Именно “воскресения”, а не “продолжения”: возобновления в новом качестве, после фатального разрыва. Сам Иванов был признанным учителем, “мистагогом”, – и кого же он “научил”? Кого можно причислить к его ученикам? Волошина? Но вряд ли можно назвать Волошина учеником Иванова, хотя сходство и влияние явственны... Иванов – это “Башня”, но он сам “на Башне” – ни с чем не смешиваемая струя. “Учительство” Иванова не реализовано в его современниках, разве что в отдельных, единичных людях – в его детях, в О. А. Дешарт, в В. А. Мануйлове, еще нескольких, возможно... Наследие Иванова течет в жилах русской культуры скрыто, в составе крови, и одновременно высится позади как окутанный мглой зубчатый горный гребень. И в этой мгле – неразгаданность, непрочитанность, смутное предчувствие неведомого Будущего.

Блок называл Иванова “Царем самодержавным” – а нам сам Блок кажется огромным. Сколь же велик должен быть Царь? Смотрим в ту сторону – и не видим Царя, видим только, по характеристике школьных учебников, “второстепенного русского поэта”. Как писала О. Дешарт: мы – “тщательно организуем беспамятство”, которое – а это уже слова Иванова – и само “пытается сорганизоваться... пытается создать свою цивилизацию”.<sup>34</sup> Память нашего коллективного “настоящего” проглядела Царя. Что же касается будущего... Прогнозы Иванова – об этом уже говорилось выше – нередко сбываются. Говоря о своем решении принять католичество, Иванов достаточно точно предсказал когда-то настоящее (а тогда – будущее) русской церкви: на основании анализа настроений, господствовавших некогда в православной эмиграции, которая питала надежды “...обрадовать... в будущем русский народ возвращением ему таланта, полученного из его рук, бережно сохраненным, но (увы!) ничего не приобретшим”. Но “все это способствует нарастанию... пристрастия к

<sup>33</sup> Эти процессы подробно описаны М. Мамардашвили в его “Психологической топологии пути”.

<sup>34</sup> “Письмо к Дю Босу”. - III, 432.



старой ошибке разделения”.<sup>35</sup> Именно это и происходит ныне (я только констатирую всем известные факты): Русская Церковь сегодня кажется как никогда далека от диалога с католичеством, прецеденты Чаадаева и Соловьева кажутся побочным продуктом их личной чудаковатости. Почти никогда не упоминаемый пример Иванова – если его осмыслить – меняет здесь многие знаки. В принятии им, – не столько католичества, сколько церковной полноты, – осуществляется будущее, которого еще пока и на горизонте не видно. На скорое объединение церковей Иванов надежды пророчески не питал. Что же касается искусства, то ивановские предвидения куда более оптимистичны (причем цитирование этих строк в “нашем настоящем” не лишает их смысла): “Ныне... школа... символизма всюду несомненно умерла вследствие внутреннего противоречия, ей изначально присущего. Но в ней жила бессмертная душа; и, так как большие проблемы, ею поставленные, не нашли в ее пределах адекватного выражения, все заставляет предвидеть в далеком или недалеком будущем в иных формах более чистое явление “вечного символизма”.<sup>36</sup> Но не очередная ли это русская утопия? Почему Иванов так уверен? Разве все на этом свете воплощается? Разве воплощается хотя бы что-нибудь?

В фантастической трилогии (на языке Иванова – баснословии) одного из великих представителей “реалистического символизма” XX века – английского профессора Дж. Р. Р. Толкина – персонажи (один – бессмертный, “эльф”, другой – долгожитель, “гном”) ведут такой разговор:

–...Обычная история у людей! Все-то они ждут урожая, сеют пшеницу, – и вдруг грянут весенние заморозки, или летний град побьет поля, и где он, урожай? Где они, обещания?

– Однако редко бывает, чтобы пропал весь посев... иной раз переждет зерно непогоду, схоронившись где-нибудь в пыли и перегное – а потом возьмется и прорастет, когда уже и не ждет никто... дела людей еще и нас с тобой переживут...!

– И все же в конце концов останется только руками развести. Всем их делам и замыслам одно название – “могло-быть-да-нету”...

– Будущего не дано провидеть даже эльфам...<sup>37</sup>

\* \* \*

<sup>35</sup> “Письмо к Дю Босу”. - III, 429.

<sup>36</sup> “Символизм”. - II, 667.

<sup>37</sup> Дж. Р. Р. Толкин, “Властелин Колец”. Т. III, с. 222, пер. наш.

...Лик ангелов, какие встарь  
Сходили к спящему в Вефиле..."  
Вячеслав Иванов, "Римский дневник"

...И любит отчужденного в Одном,  
А Лия – отчужденного в Раздельном.  
И обе склонены над темным дном.  
(Вячеслав Иванов, Transcende te Ipsum)

О юные дочки Лавановы,  
Гадающие на жениха!  
Никто не читает Иванова  
В эпоху затмения стиха.

Рахиль себе равных чурается,  
В чем Лия провидит беду.  
На что он, хромец, опирается,  
У звезд и планет на виду?

Шагают верблюды в истоме, и  
Вином обернулась вода.  
В ничто и нигде, до истории,  
И после нее, в никогда.

Что пролито? Звезды ли? Млеко ли?  
Гадать, так уж наверняка.  
В пустом до-временьи, как в зеркале –  
Все будущие века,

Они же – и прошлые. В схиме ли,  
В фате ли их жребий благой –  
Иаков один для Рахили, но  
Для Лии он – кто-то другой,

А обе мечтают о третьем, и  
Забыли о прежних богах.  
Но прошлое с будущим встретилось  
Уже, и Иаков – в бегах,

И Некто восходит по лестнице  
Над спящим, в обитель планет,  
И, в черном, две девы, две вестницы,  
Два ангела, смотрят вослед:

То Марфа с Марией прощаются  
С Тем, с Третьим, но выключен звук.  
К кому он, поэт, обращается  
С амвона бумаги и букв?

О мудрые дщери Лавановы,  
Праматери праотцов!  
Никто не читает Иванова  
В забвеньи начал и концов.

Чья нитка в иголку проденется  
Под куполом зрячих планет?  
На что он, мудрец, понадеялся?  
На то ли, что времени нет?

Рим – Регенсбург – Петербург, 2001.



Senecio Tram

8 apr 1936-38

Sodjani

Alberca  
M. J. J. J. J.  
K. M. M. M.

Pino Nicani

Maria Toures 12/II 36 XIV

Lubov Lwow 23/4/36  
91 a Lomo Lwow

Sonia de Nucee.

D. Meerjansky 13 II 36

Eugenie Rapoport 36

M. de Bejany.

Z. Hippous

Antonio Kanain

L. L. G. G. G. 27. 4. 36

И. И. И. И.

Vilene Moustier

Maria Brumiera B. B. B.

from M. M. M.

J. Fernan

Sophie de D. D.

A. P. M. P.